

Леонид Гиршович

## АРЕНА XX

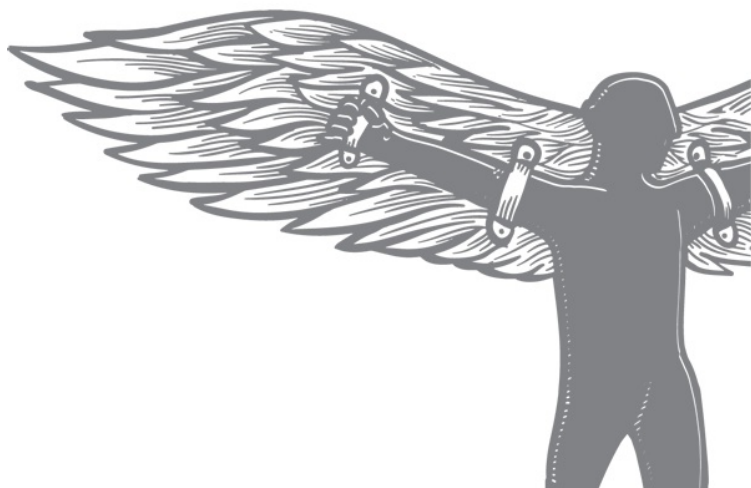
*Серия «Самое время!»*

XX век — арена цирка. Идущие на смерть приветствуют тебя! Московский бомонд между праздником жизни и ночными арестами. Идеологи пролеткульта в провинциальной Казани — там еще живы воспоминания о приезде Троцкого. Русский Берлин: новый 1933 год встречают по старому стилю под пение студенческих песен своей молодости. «Театро Колон» в Буэнос-Айресе готовится к премьере «Тристана и Изольды» Рихарда Вагнера — среди исполнителей те, кому в Германии больше нет места. Бой с сирийцами на Голанских высотах. Солдат-скрипач отказывается сдаваться, потому что «немцам и арабам в плен не сдаются». Он убил своего противника. «Я снял с его шеи номерок, в такой же, как у меня, ладанке, и надел ему свой. Нет, я не братался с ним — я оставил улику. А себе на шею повесил жернов». «...Вижу некую аналогию (боюсь сказать-вымолвить) Томасу Манну» (*Симон Маркиш*).

Леонид Гиршович

# Арена XX

РОМАН



Гиршович — один из самых умных современных писателей, а обратная сторона ума — безжалостность. Но здесь безжалостность не жестокость, а отсутствие иллюзий, интеллектуальная честность, и холодность — не равнодушие, а мастерство художника, не позволяющего эмоциям возобладать над собой.

АНДРЕЙ УРИЦКИЙ, «ЗНАМЯ»

В наше время в России многие пишут хорошо, но куда девалось элементарно необходимое для прозаика искусство — искусство рассказывать историю? Гиршович один из очень немногих современных русских писателей, кто знает, как это делается.

ЛЕВ ЛОСЕВ

Гиршович в иных случаях довольно жесток и пристрастен. Легко и свободно разыгрывая виртуозную партию игры в бисер, где материал — вся мировая культура, он не прощает сентиментальных, прекраснотушных спекуляций на культуре.

АНТОН НЕСТЕРОВ, «НЛО»

Мы открыли Леонида Гиршовича, прочитав его роман-манифест «Прайс» — роман воспитания во всей симфонической огромности его оркестрового звучания. Ощущение чуда никуда не исчезло и по прочтении романа «“Вий”», вокальный цикл Шуберта на слова Гоголя», где мы находим все то же, что так потрясло нас при первом знакомстве.

СТЕФАНИ ДЮПЮИ, «LE MONDE», ФРАНЦИЯ

Толстой, Достоевский... Гиршович — кажется, большой русский роман не умер.

ЮДИТ ШТЕЙНЕР, «LES INROCKUPTIBLES»,  
ФРАНЦИЯ

*Часть первая*  
АРТИСТ ЖИЗНИ

Дни были летные.

Три отроческие спины на пляже кисти Дейнеки: позвонки, как у динозавров. И все-то у этих трех отроков впереди, как тот, например, гидроплан, что над морем. Или представляешь себе «Футболиста» его же, Дейнекина письма... или Олешина? Кем там писано: «Блестящая белая ляжка, огромное израненное колено, чулок сполз на яростной кривой икре, нога ступней влипла в жирную землю, другая собирается ударить — и как ударить! — по черному ужасному мячу... Глядящий на эту картину уже слышал свист кожаного снаряда, уже видел отчаянный бросок вратаря».

Да-да, дни были летные, спортивные, слепящие лазурью. Аэроплан — дельфин облаков. До Черного моря далеко — взамен курортного приюта языческое воскресное купанье в городских водоемах.

Летчик над городом. Облегающий голову шлем, защитные очки.

Там ждет тебя-а-а любовь! —

насвистывает он любовный марш тореадора, заглушая шум мотора. (Внутренний слух, как некая армия: всех сильнее.) За спиной у него пассажирка: из-под непривычного шлема выбился белокурый локон. «Ваши глазки голубые...»

Далеко внизу крестословица города, таким его увековечит аэрофотосъемка. Решето дворов, рыжая шевелюра кровель. Непредсказуемые зигзаги желтого вагончика цвета помешательства. Зеленые кущи берут в обстояние поверхность воды, утыканную гусиным пером парусного спорта. Горит, покамест на солнце, мыльный пузырь, пущенный сообща депутатами от всех фракций, — гореть ему не перегореть двадцать седьмого февраля будущего года! А на реке баржа меряется силой с буксиром: гусеница против муравья, кто кого перетянет. Муравей покрепче.

— Еще попомните меня, Давыд Федорович.

Предрекается это тоном, несообразным с разницею в летах: у Давыда Федоровича дочь — ровесница его собеседника. Последний широко пользуется тем обстоятельством, что в доме Ашеров провозглашено равноправие поколений. Когда за Николаем Ивановичем закроется дверь, вслед ему не раздастся шипенье: «Из молодых, да ранний». Передовая семья, увенчанная дочерью, всегда будет опережать, хоть на полшага, передовую семью,

где венцом родительского творения сын. Думаете, оттого, что Николай Иванович мог бы заместить сыновнюю вакансию? Вот, дескать, Ашеры и невестятся все втроем: Давыд Федорович, Маргарита Сауловна и Лилия Давыдовна — Лилия Долин — завлекая Берга симпатичным либеральным пошибом («У нас запросто»). Какое! Там горы таких бергов! Открытый дом, по вечерам чай с пирогами (только без гитарности, это уж, извините, в других местах, для нас вокал — святое). И вообще Лилечка вольная птичка, да еще кругом так много червячков, а клювик один...

Нет, иначе. У Ашеро́в «запросто», потому что растить сыновей всегда закалилка для отцов в ожидании предстоящего сражения, которое те им дадут; дочерей же растят с нежностью к их лону — наполовину бескорыстной, наполовину взлелеянной желанием сохранить себя в потомстве.

Сейчас Николай Иванович с Давыдом Федоровичем сидят, облитые солнцем, на веранде кафе «An der Oper». Давыд Федорович попивал «беково» из высокого зобатого стакана, на котором почему-то было написано «кульмбахское». («Если на клетке “Бек’са” написано “Кульмбахер”...» и т. д.) Николаю же Ивановичу подали пшеничный «кристалл».

Когда надо будет платить, его молодость окажется проворнее, он первым расстегнет кобуру кошелька. Сие ни о чем не говорит. Столько не счесть тортов, сколько их можно съесть у Ашеро́в дома. И этому испытанию бесконечностью Николай Иванович подвергался неоднократно, топя ашеро́вские наполеоны в березине сладкого чая.

«Сколько ложечек сахару...» — анекдот про гостя, у которого нос величиною с корабельный ростр. Само слово, обозначающее вышеупомянутую часть лица, в присутствии этого гостя табу. И вдруг хозяйка, разливая чай, спрашивает, к своему ужасу: «Сколько кусочков сахара вы кладете себе в нос?»

Берг не отличался приметамы Сирано, но, надо сказать, никакой нос не вместил бы столько сахару, сколько он себе насыпал. Мужчины-сладкоежки пользуются дурной репутацией с тех пор, как на авасцену вышла психология. Рауль Синяя Борода у Шарля Перро свирепо пожирал кабанью голову; Рауль Синяя Борода у Метерлинка будет пить какао и слизывать персиковый джем с булочки.

Николай Иванович съедал на обед кабанью голову кофейного торта; на простыне у него всегда имелись

подозрительные следы, своим происхождением обязанные молочному шоколаду. (А матрасовка и вовсе напоминала шкуру гепарда.)

Но бывает, что человек вынужден заказать пиво. Тогда Николай Иванович спрашивал «белое берлинское красное» — это «дитя Берлина» («Berliner Kindl») подается в вазочке, наподобие мороженого с сиропом.

Официант сожалеет: в кафе «У оперы» кончился малиновый сироп — середь бела дня!

— Мм... Хорошо, пшеничное «хрустальное». (Плавающая в нем долька лимона с цедрой сойдет за мармеладку «лимонная долька».)

— Один «Кристалл», один «Бек'с», — повторил официант.

— Так вот, попомните, что я вам говорю, — поучал Берг Давыда Федоровича. — Время опер в переводах прошло. И Гуно, и Бизе, и Массне скоро будут даваться по-французски. Это профанация, когда Эскамильо поет:

Там ждет тебя-а-а любовь!

Несколько дам за соседними столиками обернулись, на что Берг раскланялся, приподнявшись, и продолжал с совершенно невозмутимым видом:

— Мелодия речи. Петь оперу *не* на языке оригинала это как выставлять фальшивого Леонардо да Винчи. А кто не понимает в оригинале, пусть клянет свою судьбу. Представляете себе, Герман запел бы: «Soll der Pechvogel weinen»<sup>[1]</sup>.

Это сердило Давыда Федоровича, который пошутил: «Даже если в Берлине разразится чума, не уеду. Здесь, слава Богу, разучиваешь с певцами их партии по-немецки». Дома в Динабурге говорили только на жаргоне. Никакой тоски по Петрограду у него нет. Хоть и кончил консерваторию у Есиповой, кто бы его, еврея, взял солорепетитором в императорскую оперу?

— А пошли б?

— В императорскую — пошел бы.

— Коррепетитором, тапером, винтиком?

— Сильно заблуждаетесь. Работа с певцами, с замечательными певцами, дело творческое, требующее большой внутренней отдачи. И потом не сбрасывайте со счетов возможность иногда становиться за дирижерский пульт. В портфеле каждого солорепетитора лежит дирижерская палочка.

— От души желаю вам дирижировать «Кармен», которую поют по-немецки: «Там ждет тебя-я-я любовь!» Почему это они так на меня оглядываются?

— Потому что вы, Николай Иванович, ведете себя вызывающе. Известно, что они зовут «любовью».

Самого Давыда Федоровича, успешно выдавившего из себя раба условностей, это не смущало. А коллег по служению музам поблизости нет, в этом он поспешил убедиться, едва увидел Берга. «А, Давыд Федорович! Ну, с собутыльничком вас», — и плюхнулся на стул рядом.

«А вдруг я кого-то жду», — подумал Давыд Федорович и в отместку решил позволить Бергу за себя заплатить. Посмотрим, сколько этот *артист жизни* даст на чай.

«Артист жизни» — Берг сам так отрекомендовался в первый же вечер, на вопрос о роде занятий, в сущности, бестактный: ну как можно у эмигранта такие вещи спрашивать, эмиграция сама по себе уже род занятий, причем достаточно унижительный. Не каждый может, как Давыд Федорович, сказать о себе: «Вы знаете, служу в “Комише Опер”» — мол, как это вышло, сам не разберу, близорук-с.

Трудно себе представить, чтобы немецкая публика когда-нибудь променяла родную скороговорку «Фигаро здесь, Фигаро там» на непонятное бульканье. Берг нес чушь — Ашер смотрел в будущее с уверенностью. Тем больше ему не давал покоя апломб Берга. Давыд Федорович испытывал навязчивую потребность в подыскании контраргументов.

«Сердце красавицы склонно к измене», «Люди гибнут за металл», это уже почти фольклор. Сбрить целый культурный пласт ради иллюзии, что ты в миланской “Скале” и на сцене Титта Руффо... или ради иллюзии самого поющего, что он — Титта Руффо? Берлинец не тает при мысли о Милане. Для него заграница не приманка. Ну, в крайнем случае, забавный зверинец, Зоо, где обезьяны непристойно демонстрируют концы туловища, где верблюд работает под сфинкса, где сидят орлы подобьем вечности, уж и не чая благополучного исхода. Да чушь собачья! Немцы цветут здоровьем, у них с пищеварением то, что доктор прописал — в отличие от орлов. Шмитт-Вальтер не будет тебе петь по-итальянски с немецким акцентом, и чтоб в программке стояло: “Il Barbiere di Siviglia”. Будет написано: “Севильский цирюльник”! Кровное, свое, с детства привычное, без этого родная речь обеднела бы. И во имя чего? Ради перевираемых слов, не понятных ни поющим, ни слушающим, включая



самих итальянцев? “Смьейсья, паяйц”. Какая там, к черту, мелодия итальянской речи!»

Давыд Федорович про себя распался — дорожил своим местом под берлинским солнцем. Хотя на провокации не поддавался и в споры не вступал. Но Берг нащупал болевую точку — тот в сердцах проговорился: «Окажусь на улице, стану играть по кабакам».

Те, которые «мольто симпатико» (выражаясь на языке оригинала), и те, которые «мольто антипатико», наделены равной притягательной силой, вторые будут даже попритягательней — особенно для людей, нетвердо ступающих по жизни, вроде Давыда Федоровича.

Берг появился у них в доме необычно — «обычно», это если б кто-то его привел, но Берг самозародился, как какое-нибудь языческое морское божество. В понедельник вышла Лилия Давыдовна из дому (по понедельникам у нее «Театральная студия русского юношества»), вышла и видит: ее «фатерлянд» пропал, другие бисиклеты стоят привязанные, а ее нету — в обществе мужских рам то была единственная «дама», с радужным веком в полколеса. Расстроилась — еще как. Но тут заметила уздечку от своего замка: она была разомкнута и на нее нанизана записка, как квитанция на гвоздь. Позвонила по указанному номеру: «Вместо велосипеда я обнаружила ваш телефон». — «Совершенно верно... Вы, кажется, русская?» — «Кажется». В трубке переходят на русский. Голос низкий, не как у наших, и говорит не спеша, с сытым достоинством: «Шел, смотрю, кто-то забыл пристегнуть. Охотников до чужого добра — сами понимаете. Ну и предотвратил возможное безобразие, пустил вашего пони к себе в келлер. Это в пяти минутах от вас. Если вы подождете, я его приведу под уздцы». — «Не утруждайтесь, я сама, спасибо». — «Вам искать, а я знаю наверное, где вы живете». Лилечка поблагодарила, а все ж, когда он появился, не утерпела, «вручила ему свою визитную карточку»: надеется, что господин Берг — он представился — сделал это не потому, что велосипед дамский. Похититель велосипеда не нашелся. От слова «ненаходчивый». Лилии Давыдовне стало совестно, и она пригласила его на чай: «У нас всегда кто-нибудь бывает». Берг как Берг: кратчайший путь из точки Б в точку Б. Никогда бы не подумала, что русский. «Хорошая мысль», — сказал Берг.

За столом, попробовав наполеон, он уже не мог остановиться и все приговаривал: «Милльфёй у вас необыкновенный».

— За спасение чужого «фатерлянда» вы выбрали себе в награду торт. Как видите, здесь награды раздаются щедро.

Это сказал инженер Урываев, однокашник Давыда Федоровича, тоже двинский... в одном классе... за одной партией... Господи!.. Они с Давыд Федорычем совсем позабыли о существовании друг друга, пока случайно не вынырнули рядышком, не просто в Берлине — в берлинском озере. Голова к голове. Мокрые волосы выдают мальчишество. Каждый сразу по тридцатке состругал. Смотрит одна голова на другую: что-то не то. А когда Урываев услышал на берегу, что по-русски говорят (Давыд Федорович пляжился с Маргаритой Сауловной), тогда подошел: «Премного извиняюсь, мы никогда не встречались? Александр Ильич Урываев, инженер». — «Саша? Сашка, майн готт! Дэвка Ашер, Воропаевское реальное... — и к жене: — Маргоший! В одном классе... за одной партией... Господи!» Урываев рассказал о себе: путеец, тоже жил несколько лет в столице, служил на Николаевской железной дороге. Потом Киев, Новороссийск, Москва... Перекати-поле. А здесь механиком, на аэродроме «Темпельгоф». Глупо, мать в начале войны дом продала, так бы хоть что-то было. (Знакомая история: сестра Давыда Федоровича, как над Ригой появились первые цеппелины, после Нарочи, за бесценку отдала отцовскую аптеку арендовавшему ее поляку.) Ходил даже одно время в плавание. Семья? Помнишь, пели: «Без детей, без жены здесь живут пластуны». Про меня. Полдня ползаешь по-пластунски под разобранными авиадвигателями.

После этой встречи Урываев зачастил к Ашерам. («Дэвочка, в нашем доме этот человек диссонанс и нонсенс», — крылатая фраза из Аверченки.) Давыд Федорович не спорил с женой. Да, глубоко символично, что ползает под разобранными авиадвигателями, при его-то полете мысли: «Раз в реальной жизни мы не поем, а разговариваем, то какого, извиняюсь, рожна на сцене выкомариваться...» А еще Урываев ходил в одних и тех же крапчатых носках и собирал купоны на бесплатную банку яичного порошка. («Маргоший, мой хороший, не могу... человек. Ходит же к тебе Зиночка». — «Сравнил».)

Но именно по причине человеколюбивого к себе отношения божественный статус человека бывший инженер утратил: сделался у Ашеров чем-то вроде хозяйской собачонки и лаем встречал гостей. Гости — молодежь. С взрослением Лилии Давыдовны возросла и «средняя продолжительность их жизни». Художнику Макарову уже

стукнуло тридцать пять. Усы гребешком. Он состоял в романтических отношениях с «примаверой» любительской сцены Василисой Васильевской, дочерью знаменитого киномагната предреволюционной поры. Во время Гражданской следы киномагната трагическим образом затерялись. Василиса рассказывала, как он вышел на какой-то станции за кипятком, больше его не видели. Поезд тронулся, увозя ее с матерью и братом. Брат вернулся потом в Россию. Мать держит китайский вашсалон, где работают три русских китайца. «Жили-были три китайца: Цыпа, Цыпа-Дрипа, Цыпа-Дрипа-Лимпомпони. И крахмала цыпы не жалели», — так говорит художник Макаров, писавший с Лилечки портрет, который был разыгран на благотворительном балу. Раз в неделю Макаров носит в вашсалон сорочки, не без оснований называя его «нашсалон». «А вот я у него никогда не выхожу», — жалуется Василиса Васильевская Лилечкиной маме Маргарите Сауловне.

Василиса вас выделяет, тонко вам улыбается, вам единственному. Не обольщайтесь. Портрет на стене тоже не сводит с вас глаз, где бы вы ни стояли. Вежливость красавицы. Некоторые женщины чувствуют себя в неоплатном долгу перед своей красотой. Поэтому не обольщайтесь.

И еще одна из компании «молодых». Переросток. Лилии Давыдовны она старше настолько же, насколько Макаров превосходил летами ее самое. На лице «ее самое» написано: зато я очень умное. Розалия Фелициановна Корчмарек, или Кошмарик.

Приходили и уходили исполнители других ролей. Узнавался запудренный юноша в черном заворсившем папильоне, игравший желваками по рецепту мужественных тиков; близнецы в шотландских юбках с одинаково мужскими голосами, одним и тем же картинным движением синхронно подносявшие к губам одинаковые костяные мундштуки, одинаково мусоля их помадой, вопреки расхожему мнению, что двух совершенно одинаковых мундштуков в природе не существует. При желании можно было еще кой-кого узнать: порой в человеке легче опознать цитату, чем пол.

Берг ничего не видел вокруг себя, сосредоточившись на торте с основательностью Собакевича. Даже не тотчас пнул Урываева — собачонку, по собачьему обычаю залаявшую на своего; или как раз на чужого, по собачьему же уставу — кидаться на чужих. Как Урываеву было не вцепиться

Николаю Ивановичу в лодыжку, ежели безнаказанно. Которые с полным ртом — беззащитней натягивающих брюки: подходи и бери.

— Вы, верно, из балтийских немцев, господин Берг? Наш бы вскочил на велосипед, только его и видели.

— Я остзейский барон.

— Обедневший?

— «Я остзейский барон, у меня много жен...»

Не такой уж и беззащитный. Знал на память всего «Вертера», всего «Фауста», «Сказки Гофмана» — всю французскую оперную литературу. С французским на ты.

— Вы действительно барон? — на личике у Лилечки написано презрение к знати. Палимпсест, конечно.

— Я его незаконнорожденный сын. По этой линии баронство не передается.

Домашняя заготовка, с помощью которой Берг завладел гостиной.

— А позвольте узнать, чем вы занимаетесь?

— Я — артист жизни.

Со всех сторон: «О...»

— А что это значит?

— А то значит, что можно быть артистом балета, можно быть артистом кино, можно быть артистом оркестра. Я — артист жизни. Жизнь это материал, из которого я ваюю.

— Вы, что ли, Господь Бог?

Почти всегда кому-то приходит в голову это сравнение.

— У нас с ним общие задачи — препровождать зло по месту жительства. Я это делаю каждый день, когда поднимаюсь по лестнице к себе домой.

«Ах вот как он повернул. Интересничает».

Что у отца на уме, то у дочери на языке.

— То, что вы говорите, очень интересно. Немножко глуповато.

— Каково это — делить со злом кров, стол, постель, вам объяснит каждый страдающий каменной болезнью, — продолжал Берг, не снисходя до «Лилии Долин».

«Может, он сумасшедший?» — думает Давыд Федорович.

— История моего театра — театра, где служу я, — история борьбы с каменной болезнью. Камни бывают не только в печени, в почках или в пузыре. Они бывают и в сердце. Какую воду пить страдающим камнями в сердце, какую держать диету...

«Нет, просто дурак. Выспренный дурак...»

— Происхождение камней объясняется недостатком гигиены питания. Начав есть сладкое, мы не можем остановиться. В гастрономии добро и зло различаются на вкус. Камни — порождение добра. Притом что гигиена — мораль тела. То же самое происходит с моралью общественного тела. Что нам по душе, то и считается благом, а что не по душе — злом. Это ведет к образованию камней в сердце. Если бы в основе нравственного закона, которому мы следуем, лежало зло, результатом было бы идеальное, абсолютно здоровое общество. Как добро порождает зло, так же и зло творит добро. Об этом еще знал Гете. Достоевский списал у него: «Я есмь часть той части целого, которая хочет делать зло, а творит добро». Помните, Мефистофель в «Фаусте» поет: «Une partie de cette force qui vent toujours le mal...»

Давыд Федорович про себя вздохнул: «Не так уж и глупо».

Берг был собой доволен. Первоклассная режиссура, постановка удалась. Но тут...

— Но тогда почему же вы позаботились о моем велосипеде?

Этого вопроса, по логике вещей неизбежного, Николай Иванович не ждал. Беда «артистов жизни» в том, что в жизни занавес падает не тогда, когда хочется. Берг выпалил с подкупающей искренностью:

— Потому что хотел с вами познакомиться.

— Bravo, — сказал тридцатипятилетний Макаров. — Что и требовалось доказать. Благородный поступок с корыстными целями.

Берг был приписан к «молодежи». Как бы... Вообще-то у него «сложилось» с Давыдом Федоровичем. Оба очень скоро нащупали способ доставлять друг другу сокровенную «ласку». Давыда Федоровича манила развязность этого юнца — Николая Ивановича, особенно в сочетании с тем гадостным, что им говорилось. Давыд Федорович легко подыскивал контраргументы, но почему-то всегда в отсутствие оппонента. Берг безжалостно (да жалости от него никто и не потерпел бы) топтал профессиональное достоинство человека, служившего — да, винтиком! — зато там, куда Берга пускали только по билету и только в зал.

Артистами жизни не рождаются, ими становятся, когда ни к чему другому свой артистизм приложить не удалось. В лице Давыда Федоровича Берг казнил театр. Но можно подумать, что он не предлагал Мефистофелю свою душу. Не взял,

подлец! Николай Иванович настолько любил оперную позолоту, что хотел ее скovyрнуть, — так дети от восторга ломают любимую игрушку. Отнес свою душу в ломбард, а Мефистофель ему ничего за нее не дал. «Моя мать пела Миньон, Розину, Марту, мой отец стоял за дирижерским пультом, я рос за кулисами...» Николай Иванович торопился изложить свой взгляд на оперу в плане режиссуры — вечный безбилетник, он жаждал театрального поприща. И даже не сильно грешил против истины, рассказывая, что ребенком дневал и ночевал в театре. Если б еще уточнил, где конкретно — там, где дробившийся о раму чердачного окна столб света роился пылью от старинных нарядов, шитья, кружев. Для облачившихся в эти самые кружева, камзолы, фижмы он... ну как звать-то... у которого еще башмак на тройной подметке... вспомнил, дядей Ваней! — для всех этих мнимых испанских грандов, корсаров, придворных дам он был всего лишь сыном хромого костюмера Иван Иваныча Карпова. Мелкое чувство превосходства над теми, кому со служебного подъезда вход в театр заказан, лишь усиливало комбинацию гордости и зависти, которая зовется «подпольным человеком», «русской душою» — всем тем, что так легко можно будет заковать в броню немецкой фамилии. Инерции детства хватит на всю жизнь.

— Золотой век оперы в прошлом, серебряный на излете, грядет медный, — говорил Берг шеф-редактору издававшейся в Страсбурге «Галльской Мельпомены»; из жрецов этой недобогини monsieur Pierrot единственный, кто сохранил присутствие духа, выслушав «Бергов манифест». — Золотой век, — говорил Берг, — был веком золотых голосов. Чем выше колоратура, тем выше сборы. Потом настал век диктатуры дирижера. Дирижер изгнал сладкоголосых Адама и Еву из рая и стал грозой оперного театра: надел на певцов намордник, выпустил из оркестровой ямы сторукого демона. Но владычеству его волшебной палочки приходит конец. Дирижера свергнет режиссер, подлинный демиург сцены. Плебс, именуемый публикой, жаждет зрелищ. Как поющую парочку вытеснила оратория, так и ораторию заменит представление. Опера двадцатого века — барабанщица современного театра. Пора кончать с вавилонским столпотворением, опера должна петься на языке, на котором писалась. Европа объединяется, опера тоже. Время национального мещанства кончилось, война проиграна всеми. Слово больше не боевой клич нации. Спетое, оно освобождается от смысла, само по себе становясь музыкой.

Все эти смехотворные либретто будут перелицованы. В «Кармен» кондитерская фабрика заменит табачную. Изготовление сигар — чертовски прозрачный намек, а фабрика сластей, где одни женщины, — ну что ж. Среди этих женщин Кармен — чужеродное тело в буквальном понимании, она переодетый мужчина. «Хабанера» вдвойне порочна. Борьба за бригаде Жозе между Кармен и Микаэлой — борьба между гомо- и геторосексуальностью, связанной в подсознании с образом матери. Микаэла, в первой сцене ставшая жертвой группового изнасилования, олицетворяет собою мать: постоянно взывает к сыновним чувствам бригаде Жозе. Методом психоанализа исследован и бык-торeadор. Поэтому он с позолоченными рогами. Как Зевс. Хор гаврошей ожидает кастрация — сколько будущих Фаринелли сразу!

И он набылчился, метя золотыми рогами в сердце Пьеро.

Monsieur Pierrot не спасовал — прочие из сильных мира искусства, на кого Николаю Ивановичу удавалось обрушить поток затверженного красноречия, каменели, словно пассажиры почтового дилижанса, подвергшегося нападению грабителей.

— Как бы не так, — мужественно сказал главный редактор «Галльской Мельпомены», — довоенная жизнь продолжается. Публика одета по современной моде, но это не отменяет ее старых привычек. Посещение оперы — одна из них. Сегодня, когда сердца охладели к отечеству, только опера не стыдится быть национальной. Она — легитимная отдушина для радикалов, в душе остающихся консерваторами. А вы предлагаете какую-то помесь цирка с кинематографом. Это может быть хорошо для пролетариата. Вы русский. Попробуйте заинтересовать этим в Москве. У вас на родине поставлен великий эксперимент. Ваши земляки лишены предубеждений. Им не чудится в каждом темном углу шарлатан.

Давыду Федоровичу было бы отрадно услышать про темный угол, кишаций шарлатанами вроде Берга. Увы, Давыд Федорович не понял бы по-французски... увы, увы, увы. Реалистиком воропаевским отрок Ашер не выказал примерного усердия. О научных же классах консерватории и говорить не приходится, там все сдавалось на арапа. С юных дарований какой спрос.

Троекратное увы. А Берг шпрехал по-французски еще со времен костюмерной. А уж как его французский расцвел в Иностранном легионе: «Allons enfants de la Patrie...».

Недолго, правда, играла «Марсельеза». Николай Иванович попал в историю. Об этом он вспоминал с горечью человека, которому нечего скрывать. Туареги атаковали их госпиталь — он был шофером санитарной машины. Ну, сумел под огнем вывезти кассу. («А больных, а раненых?») — спрашивала Лилечка. «Они были туарегам не нужны, нужна была касса». Но сейф почему-то оказался пустым. И хотя ничего доказать нельзя было, его уволили. Зато медсэшеф вернул долг чести.

Николаю Ивановичу приглянулся Берлин. Работу подыскал себе под биографию, чтоб потом ее было легче учить в школах: «харонит» в похоронной конторе. На вывеске черт с вилами и огненными буквами написано: «Похороны Мудроу, осн. в 1818». У Томаса Кука за стеклом выставлена игрушечная железная дорога, а у черта Мудроу витрина имела вид крематория: фигурки в черном, орган, миньятюрный гробик, перед которым гостеприимно распахнулись воротца печи.

Русским берлинцам витрины тамошних похоронных бюро давали повод лишний раз позубоскалить. Немцы недоумевали. Недоумение чаще всего сменялось презрением к варварам: белья не носят, зато до утра готовы на весь дом спорить друг с другом о политике. (Наш брат в описании какого-то нобелевского лауреата. Нобелевскую премию всегда присуждают неизвестно кому.)

Еще Николай Иванович совместительствует ночным таксистом. Тоже ничего себе работенка: откальвай от жизни глыбами и ваяй. Вдохновение Берг черпает в реальном риске, который сопутствует творческому акту. Кто стучит молотком по троянке, тот подвергает опасности лишь плод своего воображения, но кто кромсает по живому — живота своего не щадит.

Как раз и ценно то, что он не импровизатор. Приравнивает спонтанность к бескорыстности и размашисто ей аплодирует улица. Они, как годовалые, которые тянут в рот что попало. Артисту жизни спонтанность не пристала, а то б артистами были все. Все живущие на земле — артисты жизни. Вот оно, вожделенное равенство людей — не «равенство гордое» человека. Но это же еще и понимать надо... (Импровизация — любимая мозоль Николая Ивановича.)

Николай Иванович вознамерился исполнить этюд под названием «Турандот». Калафу предстоит на высоте непомерной заносчивости балансировать без страховки.



Балансиром — Лилия Давыдовна. Она же не робеет высоты, не боится разбиться.

— Александр Ильич, а нет такой услуги — катать в аэроплане над Берлином? — спрашивает она у главного консультанта в вопросах воздухоплавания Урываева.

— Манфред фон Шписс, — сказал Урываев и сделал паузу. — Неужто не слышали? «Пегас». На его счету три дюжины моторов.

— Наших?

— «Наших»... Скажете, барышня. У нас столько и не было. Французских! Он считал их на дюжины. Как устриц. А еще с британской авиаматки однажды сбрил все. Манфред может взять пассажира в небо. Но он отчаянный...

— Я тоже.

— Да я не о том. Дон-Жуан, извиняюсь, отчаянный. Вот как раньше брал верх над французами, так теперь над женщинами. Не знаю, на сколько счет ведет своим победам — даже уж и не на дюжины. На сотни. («In Almagna duecento e trentuna»<sup>[2]</sup>, — страничка из блокнота Лепорелло.)

— Это что, услуга за услугу? — на личике у Лилечки очередное презрение, на сей раз к Урываеву — во всяком случае, не к авиатору. — Эти победы над женщинами существуют исключительно в вашем воображении, Александр Ильич. Вас женщины не очень-то баловали, вот вы с ними и воюете. Лично мне ваш Пегас не опасен... если он, конечно, хорошо летает.

— Могу с ним поговорить, — Урываев взят в дом без права обижаться — есть же трамвайные билетки «без права входа с передней площадки», голубенькие. — Я перед каждым вылетом его мотор по косточкам перебираю. Скажу: бесстрашная русская душа хочет оказаться с ним на седьмом небе.

— Это значит, в раю. Еще накаркаете.

— Александр Ильич, а почему бы вам самому на пилота не выучиться? — спросила Васильевская.

— Эх, Василиса Родионовна, отвечу вам словами Горького-поэта: «Рожденный ползать летать не может».

И вдруг Корчмарек вспыхнула, как засидевшаяся в девках конфорка — краник открыт, да спичка замешкалась. П-пых! Пламенем из всех дырочек.

— Больше никогда не смейте повторять это! Сам он «не может».

Даже перестала быть таким уж кошмариком. Вот что гражданские страсти с человеком-то делают.

Урываев глупо засмеялся:

— Это вы, что он вернулся? (Подразумевался Горький.) Слаб человек. Только зачем так волноваться, Розалия Фелициановна...

Давыд Федорович словно очнулся:

— Лилюсь, ну зачем тебе это? Мы с мамочкой волноваться будем. Господи, под облаками очутиться...

— А может даже и в облако нырнуть, папа. «Аэроплан — дельфин облаков», знаешь, кто это сказал? А я тоже получу шлем, Александр Ильич?

— Ну постойте, я же еще ни о чем не договорился... А вообще, Дэвочка, ты можешь спать спокойно. Я эту машину знаю как свои пять пальцев, я за нее отвечаю. Случись что, меня же первого за ушко да на солнышко. Манфред фон Шписс среди авиаторов, что твой Карузо среди певцов.

— Лучше пусть он вас покатает, — Макаров кивнул на Берга. — Я недавно видел: проехал один такой автомобиль, а оттуда марш из «Аиды».

— Нет, я хочу по порядку, сперва на аэроплане, потом на катафалке.

— Может, то был похоронный марш, вы перепутали.

«Остроумцы...» Николай Иванович всегда был серьезен, ни тени улыбки. И когда попросил у Лилии Давыдовны позволения в понедельник встретить ее на Вельзунгенштрассе, где помещалась «Студия русского юношества», то сделал это серьезно, торжественно, словно предлагал руку и сердце. Студийцы ставили «Дочерей Даная», но ему, в отличие от сыновей Египта, не было отказано: любопытно же, что он затеял.

— Нет, это будет сюрприз, — сказал он.

Обещанный дождь не состоялся, напрасно взятый зонт подлежал возврату в кассу театра. Берг пришел заранее: стрелке оставалось преодолеть еще двадцать делений. Она делала это рывками, после каждого мелко содрогаясь. Монокль циферблата был вправлен в башню кирпичи, которая мотыжила сквер, сквер порос скамейками.

С соседней поднялась женщина и прошла мимо Николая Ивановича, толкая двухместную коляску: близнецы махали ему на прощанье пиратскими флажками. Станут ассистентами режиссера в Комической опере. Николай Иванович был мастер мысленно наносить возрастной грим и, наоборот, смывать его, прозревая личинку человека. В няньке

Конец ознакомительного фрагмента.  
Приобрести книгу можно  
в интернет-магазине  
«Электронный универс»  
[e-Univers.ru](http://e-Univers.ru)